

4. Гуманная школа Белинского. - Неизгладимое влияние режима "ежовых рукавиц". - Герой-раб

Мы подошли к событию, сыгравшему в истории развития нравственной личности Некрасова не меньшую, если не большую, роль, чем любовь к матери: таким событием было знакомство с Белинским...

Впервые великий критик обратил на нашего поэта внимание как на автора некоторых понравившихся ему рецензий, должно быть, еще в 1842 году; но долгое время их встречи и беседы были мимолетны и незначительны. Некрасов уже давно преклонялся перед Белинским, но природная замкнутость и застенчивость мешали ему сделать первый шаг к более тесному сближению; он смотрел на себя как на скромного литературного работника, а Белинский был в это время уже в апогее своей славы и в "Отечественных записках" занимал место главного редактора.

Сближение началось, кажется, лишь с осени 1844 года, когда Некрасов собирал материал для задуманного им в то время литературного сборника "Физиология Петербурга", для которого в числе других писателей дал свою статью "Петербург и Москва" и Белинский. Между прочим, Белинского сильно заинтересовал (еще в рукописи) предназначавшийся для этого сборника очерк самого Некрасова "Петербургские углы", один из лучших прозаических опытов поэта, посвященный жизни трущобных обитателей и написанный в духе и манере "натуральной школы". Интерес был тем сильнее, что до Белинского, конечно, дошли уже в это время слухи о лично пережитом Некрасовым периоде нищеты и голода, и в "Петербургских углах" он видел не столько художественное произведение, сколько очерк, исполненный глубоко выстраданной жизненной правды. "С этих пор, - рассказывает в своих воспоминаниях Иван Панаев, - Некрасов с каждым днем более сходиллся с Белинским, рассказывал ему свои горькие литературные похождения, свои расчеты с редакторами различных журналов... Он произвел на Белинского с самого начала приятное впечатление. Последний полюбил его за его резкий, несколько ожесточенный ум, за те страдания, которые он испытал так рано, добываясь куска насущного хлеба, и за тот смелый, практический взгляд не по летам, который он вынес из своей труженической и страдальческой жизни и которому Белинский всегда мучительно завидовал... Ни в ком из своих приятелей Белинский не находил ни малейшего практического элемента и, преувеличивая его в Некрасове, смотрел на него с каким-то особенным уважением". Белинский полагал, впрочем, что Некрасов навсегда останется полезным литературным тружеником - не больше. Даже в следующем, 1845 году, когда Некрасов напечатал уже во второй части "Физиологии Петербурга" свою сатиру в стихах "Чиновник", Белинский, осыпая ее в печати похвалами как "одно из тех в высшей степени удачных произведений, в которых мысль, поражающая своей верностью и дельностью, является в совершенно соответствующей ей форме", ни одним еще словом не обмолвился о поэтическом таланте автора. И только позже, в "Обзоре русской литературы за 1845 г.", он называет "Чиновника", "Современную оду" и "Старушке" [*Забытое в настоящее время стихотворение*]. "счастливыми вдохновениями таланта"... Но, кажется, перед этим Белинский прочел уже в рукописи стихотворение "В дороге", которое, по свидетельству Панаева, привело его в полный восторг: "У Белинского засверкали глаза, он бросился к Некрасову, обнял его и сказал чуть не со слезами на глазах: "Да знаете ли вы, что вы поэт - и поэт истинный?..."

С этого момента, а особенно после знаменитой "Родины", Белинский начинает возлагать на Некрасова как на поэта большие надежды, и отношения его к автору оригинальных стихотворений принимают нежный, почти любовный оттенок...

Посмотрим же, чем был Белинский для Некрасова. "Он видел во мне, - вспоминал впоследствии сам поэт, - богато одаренную натуру, которой недостает развития и образования. И вот около этого-то держались его беседы со мною, имевшие для меня значение поучения". А каким обаянием веяло на Некрасова от личности Белинского, видно хотя бы из рассказа Достоевского о его первом знакомстве с Некрасовым по поводу "Бедных людей": "В полчаса мы Бог знает сколько переговорили, с полслова понимая друг друга, с восклицаниями, торопясь, говорили и о поэзии, и о Гоголе, цитируя из "Ревизора" и из "Мертвых душ", но главное - о Белинском. "Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите... Да ведь человек-то, человек-то какой! Вот вы познакомитесь, увидите, какая это душа!" - восторженно говорил Некрасов,

тряся меня за плечи обеими руками... О знакомстве его с Белинским я мало знаю, но Белинский его угадал с самого начала и, может быть, сильно повлиял на настроение его поэзии. Несмотря на всю тогдашнюю молодость Некрасова и на разницу лет их, между ними, наверное, уж и тогда бывали такие минуты и уже сказаны были такие слова, которые влияют навек и связывают неразрывно". Или вот какой разговор Некрасова с Добролюбовым передает в своих воспоминаниях Панаева-Головачева:

""Жаль, что вы сами не знали этого человека! Я с каждым годом все сильнее чувствую, как важна для меня потеря его. Я чаще стал видеть его во сне, и он живо рисуется перед моими глазами. Ясно припоминаю, как мы с ним вдвоем, часов до двух ночи, беседовали о литературе и о разных других предметах. После этого я всегда долго бродил по опустелым улицам в каком-то возбужденном настроении, столько было для меня нового в высказанных им мыслях... Вы вот вступили в литературу подготовленным, с твердыми принципами и ясными целями. А я?... Заняться своим образованием у меня не было времени, надо было думать о том, чтобы не умереть с голоду! Я попал в такой литературный кружок, в котором скорее можно было отупеть, чем развиться. Моя встреча с Белинским была для меня спасением... Что бы ему пожить подольше! Я был бы не тем человеком, каким теперь!" - Некрасов произнес последнюю фразу дрожащим голосом, быстро встал и ушел в кабинет".

К воспоминаниям Панаевой во многих частностях позволительно относиться cum magno grano salis [букв.: "с великой крупинкой соли"; с иронией (лат.)], но в данном случае показания ее нисколько не стоят в противоречии с отзывами самого Некрасова о Белинском, рассеянными во многих местах его стихотворений и поэм. ["Памяти приятеля" (1853); "О погоде" (1859); "Ликует враг" (1866); "Медвежья охота" (1867); "Кому на Руси жить хорошо" (1873); не вошедшая до сих пор в собрание стихотворений Некрасова поэма "Белинский"... На смертном уже одре поэт не раз вспоминает своего учителя и записывает в дневнике от 16 июня 1877 года: "Любимое стихотворение Белинского было - В степи мирской, печальной и безбрежной..."]. Не станем цитировать всем известную знаменитую тираду из "Медвежьей охоты", обращенную к "многострадальной тени" великого "учителя", научившего русское общество "гуманно мыслить". Но есть у Некрасова еще одно произведение, в главном герое которого изображен, думается нам, также Белинский: это - Крот из второй части "Несчастных". Если никто не замечает обыкновенно поразительного сходства этой фигуры с личностью Белинского, то, конечно, лишь благодаря Достоевскому, который пустил в обращение совсем иное толкование. "Однажды, в 63-м, кажется, году, - рассказывает он в "Дневнике писателя", - отдавая мне томик своих стихов, Некрасов указал мне на одно стихотворение, "Несчастные", и внушительно сказал: я тут об вас думал, когда писал это (т. е. об моей жизни в Сибири), - это об вас написано". На этом основании и сложилось распространенное до сих пор мнение, будто Крот Некрасова - Достоевский... Но во-первых - и по рассказу самого Достоевского - Некрасов отнюдь не сказал, что именно в образе Крота изобразил его: он только вообще думал о горькой судьбе Достоевского, сочиняя "Несчастных" (что и без его признания не подлежит, конечно, сомнению). Что касается Крота, то с автором "Записок из Мертвого дома" в нем положительно ничего нет общего.

Напомним читателю, что "Несчастные" писались в 1856 году, задолго до возвращения Достоевского из Сибири, когда в литературе он был известен еще только как автор "Бедных людей", "Двойника", "Хозяйки" и других рассказов, в которых о его будущем учительстве не было еще и помина. Личным же своим характером, нелюдимым, болезненно самолюбивым, он, как известно, не внушил особенной любви членам кружка, в котором вращался до своего ареста, в том числе и Некрасову. Другое дело - Белинский...

Прежде всего - наружность последнего. Вот как описывает ее великий мастер такого рода описаний, Тургенев: "Это был человек среднего роста, на первый взгляд довольно некрасивый и даже нескладный, худощавый, с впалой грудью и понурой головой... Всякого, даже не медика, немедленно поражали в нем все главные признаки чахотки, весь так называемый habitus [внешний облик (лат.)] этой злой болезни... Густые белокурые волосы падали клоком на белый, прекрасный, хоть и низкий лоб. Я не видал глаз более прелестных, чем у Белинского. Голубые, с золотыми искорками в глубине зрачков, эти глаза, в обычное время полузакрытые ресницами, расширялись и сверкали в минуты одушевления; в минуты веселости взгляд их принимал пленительное выражение приветливой доброты и беспечного счастья. Голос у

Белинского был слаб, с хрипотою, но приятен; говорил он с особенными ударениями и придыханиями, "упорствуя, волнуясь и спеша"..."

Не тот же ли это портрет, что и в поэме Некрасова?

Рука нетвердая в труде,
Как спицы ноги, детский голос
И, словно лен, пушистый волос
На голове и бороде.
: : : : : : :
Корит, грозит!
Дыханье трудно,
Лицо сурово как гроза,
И как-то бешено и чудно
Блестят глубокие глаза.

Подобно Белинскому, и Крот погибает от злой чахотки: "Почти два года, из тюрьмы не выходя, он разрушался..." Это внешние черты сходства, но внутренние еще поразительнее:

Пусть речь его была сурова
И не блистала красотой,
Но обладал он тайной слова,
Доступного душе живой.
: : : : : : :
Он нас учить не тяготился,
Он с нами братски поделился
Богатством сердца своего!
: : : : : : :
Не на коне, не за сохою
Провел он свой недолгий век, -
В труде ученья, но душою,
Как мы, был русский человек.
Он не жалел, что мы не немцы,
Он говорил: "Во многом нас
Опередили иноземцы,
Но мы догоним в добрый час!
Лишь Бог помог бы русской груди
Вздохнуть пошире, повольней, -
Покажет Русь, что есть в ней люди,
Что есть грядущее у ней!.."

Разве это не Белинский?.. Даже одним и тем же выражением "святое беспокойство" характеризует Некрасов своего Крота в "Несчастных" и Белинского - в "Медвежьей охоте". Литературные и исторические пристрастия обоих точно так же одинаковы: "вещие песни" Кольцова, великие деяния великого Петра, "отца России новой"...

Он видел след руки Петровой
В основе каждого добра.

Но особенно ярко бросается в глаза сходство Крота с Белинским в изображении конца первого:

Но он надежде верил мало,
Едва бродя, едва дыша.
И только нас бодрить хватало
В нем сил... Великая душа!
Его страданья были горды,
Он их упорно подавлял,
Но иногда изнемогал

И плакал, плакал... Камни тверды,
Любой попробуй... Но огня
Добудешь только из кремня!
Таков он был...
В день смерти с ложа он воспрянул.
И снова силу обрела
Немая грудь - и голос грянул!
Мечтаньем чудным окрылил
Его Господь перед кончиной,
И он под небо воспарил
В красе и легкости орлиной.
Кричал он радостно: "Вперед!" -
И горд, и ясен, и доволен...
Ему мерещился народ
И звон московских колоколен;
Восторгом взор его сиял, -
На площади, среди народа,
Ему казалось, он стоял
И говорил...

Ведь это вполне реальное, яркое изображение предсмертных минут Белинского! "Присутствовавшие при его смерти рассказывали, - пишет г-н Пыпин в своем известном сочинении "Белинский, его жизнь и переписка", - что Белинский, лежавший уже в постели без сознания, за несколько минут до кончины вдруг быстро поднялся с сверкавшими глазами, сделал несколько шагов по комнате и проговорил невнятным, прерывающимся голосом, но с энергией, какие-то слова, обращенные к русскому народу, говорившие о любви к нему... Его поддержали, уложили в постель, и через несколько минут он умер".

Однако, быть может, спросят: что за странная фантазия пришла Некрасову в голову - послать Белинского в каторгу, изобразить его на мрачном фоне клейменого острожного мира, когда всем известно, что умер он у себя в постели, в Петербурге, окруженный близкими, женою и друзьями?.. Да, но известно также и другое: Достоевский, арестованный одиннадцать месяцев спустя, осужден был в каторгу главным образом за чтение и распространение письма Белинского к Гоголю... Следовательно, думать о великом покойном учителе во время писания "Несчастных" Некрасову представлялось во всяком случае не меньше поводов, чем о Достоевском...

"Я находился в таком литературном кружке, в котором скорее можно было отупеть, чем развиться; встреча с Белинским была для меня спасением" - это признание поэта подтверждается как данными его биографии и свидетельствами современников, так, в особенности, и всем ходом и развитием его поэтической деятельности. Гуманная школа Белинского наложила на мысль и душу поэта глубокий отпечаток. К 1848 году (год смерти Белинского) обрел свой окончательный облик тот действительный "демон" Некрасова, который всегда определял как жизненную его деятельность, так и поэтические настроения. Можно сказать, что до встречи с великим учителем он лишь инстинктом любил народ, инстинктом стремился для него работать, как человек, сам много страдавший и вынесший, как человек, превосходно изучивший и сумевший понять душу народную со всеми ее теневыми и светлыми сторонами; но интеллектуальную формулу этой любви и толчок к активной работе во имя ее Некрасов получил, несомненно, от Белинского. Идеи великого критика упали на богатую почву высокоодаренной натуры поэта, обладавшего - преимущественно перед всеми членами кружка - глубоким знанием и пониманием народной жизни, и дали роскошный плод в виде не одной только поэзии: в журнальной деятельности Некрасова, сыгравшей, по мнению критики, ничуть не меньшую роль в истории русской интеллигенции, чем его стихи, точно так же явственно ощутим могучий дух "неистового Виссариона"...

К сожалению, - потому ли, что благотворное влияние пришло несколько поздно и оборвалось слишком рано, потому ли, что сложная природа Некрасова не поддавалась одной какой-либо определенной окраске, - он навсегда остался во власти глубоких противоречий, от которых сам, разумеется, прежде всего и больше всего страдал.

На мне года гнетущих впечатлений
Оставили неизгладимый след...

Идеалист, преданный, как никто другой, делу служения родине и народу, он всю жизнь оставался рабом среды и привычки, любил жизнь ради самой жизни и дорожил ее "минутными благами". Конечно, и во времена Некрасова встречались рыцари без страха и упрека, подобные Белинскому или, позже, Добролюбову, но это были люди в подлинном смысле слова "не от мира сего", с юных лет порвавшие с грубой материальной "существенностью" и витавшие в светлой области идеала. Из всех сверстников своих и соратников Некрасов по преимуществу был человеком живой действительности, и меньше чем кого-либо другого его можно рассматривать и судить вне, так сказать, времени и пространства. "Мы выросли в ежовых рукавицах", - выразился Г. З. Елисеев о своем и некрасовском поколении, и сыновьям позднейшей эпохи грешно было бы не принять в расчет этого обстоятельства при оценке работы своих предшественников. Крепостное право бросало свою мрачную тень на все решительно явления дореформенной жизни; в душной атмосфере вечного страха, уныния и рабской подавленности росли, жили и действовали целые поколения.

Недолгая нас буря укрепляет,
Хоть ею мы мгновенно смущены,
Но долгая навеки поселяет
В душе привычки робкой тишины!..

Геройство всегда было и будет завидной долей лишь отдельных единиц. Некрасов не мог претендовать, да никогда и не претендовал на титул героя: напротив, он всегда усиленно казнил себя за душевную дряблость, усиленно подчеркивал недостатки свои как гражданина:

Народ! Народ! Мне не дано геройства
Служить тебе, - плохой я гражданин.

Повинную голову и меч не сечет... На голову же Некрасова сыпались и до сих пор продолжают сыпаться бесконечные обвинения вплоть до довольно-таки курьезных. Он жил приблизительно так же, в той же обстановке, греша теми же барскими замашками, что и очень многие из его товарищей по профессии, и Тургенева, например, никто не обвиняет в том, что он любил комфорт, не тачал сам себе сапогов и не ходил за сохой, как Лев Толстой позднейших лет. Но то, что прощается большинству, Некрасову, оплакивавшему народную нищету и горе, вменяется в преступление... "Есть неумолимые, которые не прощают и непременно желают развенчать Некрасова. Должно быть, их собственная совесть чиста, как зеркало, в которое они могут спокойно любоваться на свои добродетели и гражданские подвиги. Должно быть, их головы увенчаны бесспорными лаврами" (Михайловский Н. К., Литературные воспоминания, т. 1). Не вступая с подобными господами в спор, отошлем читателя к статье, из которой взята только что приведенная цитата: более глубокого и тонкого проникновения в сложную природу души Некрасова в русской литературе нет. Нам хотелось бы только прибавить кое-что по поводу "тени, которая четверть века назад (а теперь уже сорок лет назад. - Авт.) пала на личность поэта и затуманила ее в глазах самых горячих поклонников".

Дело происходило, как известно, в 1866 году, когда, после выстрела Каракозова, над "Современником" и даже, - думалось тогда многим, - над всей русской литературой нависла грозная туча. Людям нашего поколения трудно и представить себе ту мрачную пелену панического страха, которая, по единогласному свидетельству современников, окутала в те дни даже неробкие сердца и недюжинные умы; "sauve qui peut" [*спасайся, кто может (фр.)*] - было общим криком. К сожалению, многие любопытные и поучительные подробности тех событий еще не преданы печати... В этот-то момент всеобщей растерянности и заботы о спасении дрогнул и Некрасов, - и рука его "исторгла у лиры неверный звук": на публичном обеде, который петербургское дворянство давало тогдашнему властителю судеб русского общества - графу Муравьеву-"вешателю", Некрасов прочел свои приноровленные к этому торжественному случаю стихи. Рассказывали, будто, выслушав их, Муравьев от чтеца отвернулся... Во всяком случае, если Некрасов рассчитывал подобной жертвой отвести грозу от своего "Современника", то он горько ошибся: журнал был вскоре закрыт. Опасность оказалась, однако, не столь грозной, как ее рисовало напуганное воображение: "вся литература" не погибла; первый

пароксизм испуга прошел, и поэту пришлось по капле испытать всю чашу горечи - злорадство врагов, упреки друзей и собственной совести.

И вы, и вы отпрянули в смущеньи,
Стоявшие бессменно предо мной
Великие страдальческие тени,
О чьей судьбе так горько я рыдал,
На чьих гробах я преклонял колени
И клятвы мести грозно повторял.

В бумагах Н. К. Михайловского сохранилась в высшей степени характерная и любопытная записка Г. З. Елисеева, имеющая форму ответа на письмо Худякова, горячего когда-то поклонника Некрасова, осужденного по делу Каракозова и из глубины Восточной Сибири славшего поэту горькие и даже жестокие упреки за "неверный звук лиры". Письмо это получено было Елисеевым или, быть может, самим Некрасовым еще в конце шестидесятых или начале семидесятых годов, защитительная же записка Елисеева относится, по всей вероятности, к концу восьмидесятых годов, когда Худякова давно уже не было на свете. Приводим ее здесь целиком. *[Когда в конце 1902 года я впервые печатал в своей статье о Некрасове эту записку, цензурные условия "режима Плеве" заставили меня выбросить из нее несколько строк и ослабить некоторые отдельные слова и выражения (да и то покойный Н. К. Михайловский боялся, что цензор ее не пропустит). В настоящее время у меня нет, к сожалению, в руках подлинной записки Елисеева.]*

"Нам понятно то глубокое негодование, которое кипело в груди автора каждый раз при мысли, что Некрасов говорил в клубе стихи в честь М., в которых призывал карающую руку... Понятно потому, что, может быть, первые чувства гражданской доблести в Х. были пробуждены и воспитаны музою Некрасова, и вот теперь... он слышит от этой самой музы вместо утешения и благословения проклятие! Тем не менее такое отношение автора к Некрасову мы признаем крайне несправедливым и жестоким. Известно, что в том мраке... ни одна публичная мысль, ни одно публичное слово, а тем более дело не могли явиться без компромиссов. А у Некрасова на руках было большое публичное дело, дело расширения и упрочения за прессою свободного слова с целью дать возможно широкое распространение в обществе новой идее. Из всех писателей 40-х годов Некрасов один с самого первого появления этой идеи предался ей вполне и сделался неизменным ее носителем и служителем и остался таким до конца жизни. На это посвятил он весь свой громадный талант, действуя как поэт и как журналист. Теперь даже трудно определить, чем он более принес пользы: своими ли поэтическими произведениями или своей журнальной деятельностью. В то время, когда стихи его рассеивали всюду "святое недовольство" и возбуждали в молодых умах горячие порывы к обновлению, журнал указывал источники зла и те пути, которыми нужно было идти для его истребления, и где и в чем искать нового дела; около журнала группировались верные борцы за новую идею, делавшие всегда первыми смелые шаги вперед. Недаром "Современник" сделался любимейшим журналом публики, и в особенности молодежи; недаром ни на один журнал не сыпалось столько обвинений и тайных доносов со стороны ретроградов и столько гонений и притеснений со стороны цензуры, как на "Современник". С назначением Муравьева все ставилось на карту. Перед чем мог остановиться, чего не мог сделать этот человек, который иногда осмеливался не являться во дворец, несмотря на неоднократные требования, отзываясь делами и недосугом? *[По другим сведениям, император Александр II не любил Муравьева, и благодаря только этому последний не мог дать полную волю своим реакционным стремлениям.]* И вот для умиловливания этого человека, способного и готового уничтожить всю новую литературу и остановить движение новой идеи на несколько десятков лет, Некрасов принес в жертву свое самолюбие, написав в его честь и прочитав публично в клубе стихотворение. Говорят: Некрасов все-таки не спас этим "Современника"... Но те, которые говорят так, забывают, что речь шла не о спасении одного "Современника", а о сохранении возможности существования новой идеи, о предупреждении гонения на литературу как на литературу только... Законность и необходимость принесенной Некрасовым жертвы, наверное, будет выяснена для всех историей нашего времени. К сожалению, Некрасов был не настолько велик, чтобы, сознавая необходимость своего поступка, оставаться равнодушным к близоруким толкам современной толпы о своем поступке. Толки эти мучили его всю жизнь. Всем известно написанное им в 1866 же году прекрасное стихотворение "Ликует враг, молчит в недоуменьи вчерашний друг, качая

головой", где он изображает себя отвергнутым от всех, к кому лежали его симпатии, и попавшим через свое (клубное) стихотворение в дружбу к толпе безличных, которые "спешат в объятья к новому рабу и пригвозждают жирным поцелуем несчастного к позорному столбу". Сокрушение о своем поступке Некрасов высказывал и впоследствии в нескольких стихотворениях и лично говорил о нем всем симпатизирующим ему лицам, стараясь оправдать его или объяснить необходимостью тогдашних обстоятельств. Даже перед смертью, мучимый страшной болезнью, едва дышавший и говоривший, он не переставал приносить покаяние... Так давила и мучила его жертва, принесенная им в пользу своего великого дела.

Но что руководило Некрасовым при его поступке: мысль о деле, которому он служил, или о тех личных выгодах, которые были сопряжены с этим делом? И если последнее, то не заслуживает ли его поступок справедливого порицания и не были ли те страдания, которые он испытал за него, вполне заслуженной карой? На этот вопрос можно ответить другим вопросом. Мог ли бы Некрасов иметь столько врагов, сколько он их имел, если бы стал петь другие песни и служить другому, противоположному делу? Наглядное, блистательное доказательство того, как перемена идейного фронта может обогатить и возвеличить даже и не такого талантливую, как Некрасов, но бойкого и ловкого литератора, каждый может видеть на примере Суворина. Этот робкий чиж скромно чирикал свои либеральные фельетоны у Корша, завидуя славе и блеску такого сокола-соловья, как Катков. Но вдруг у него родилось желание направить свое чириканье во славу "сильных и сытых мира сего". Он попробовал - и на него полились деньги и слава. Он теперь признан политическим мудрецом...

Чего же бы, каких почестей и какого богатства не достиг Некрасов при его громадном уме и таланте, если бы захотел хотя бы несколько умерить свое направление? Но он не пошел этой дорогой. А не пошел потому, что не мог петь фальшиво; это не был скворец, наученный петь по-соловьиному, или чижик, робко чирикающий ходячие песенки, а - действительный соловей, который мог петь только своим голосом и петь то, что хватало его за живое. Талант Некрасова был вполне самобытный, соединенный с замечательной силою и крепостью ума. Некрасов нигде почти не воспитывался - он не окончил курса даже в гимназии, - не мог читать ни на одном иностранном языке, а между тем критический ум его был так силен, что никто лучше его не мог оценить значения каждой новой мысли, являвшейся в литературе по наукам социальным; при этом равно тонко было и его эстетическое чутье, так что можно смело сказать, что он был лучшим критиком для всех статей, которые помещались в его журнале. Это самое критическое чутье давало ему возможность замечать каждое выдающееся дарование, появлявшееся в других журналах, и вербовать его в сотрудники своего издания, что он и делал. Но еще более верно это критическое чутье руководило им в области явлений мира политического. Вспомним, что при самом первом появлении новых веяний, почувствовавшихся в обществе вскоре после Крымской войны, Некрасов тотчас понял новое положение вещей, круто порвал со своими сверстниками - литературными деятелями сороковых годов, набрал себе новых сотрудников по журналу и стал во главе нового литературного движения. До какой степени это характеризует не только тонкость критического чутья Некрасова, но и симпатию его к новой идее, это мы можем видеть из примера многих его современников, как то: Писемского, Достоевского, самого Тургенева, который, несмотря на свою замечательную чуткость ко всем новым веяниям, бестактно выступил в то время на борьбу с новой идеей в своих "Отцах и детях". Все это показывает, насколько был проницателен и тверд ум Некрасова в распознавании и оценке проходящих перед ним явлений и веяний политического мира. Он ясно понимал ветхость и ничтожность дореформенного строя, видел невозможность его долгого существования и не мог не быть борцом за новую идею. Только во имя ее он мог слагать свои песни, только ее дело он мог нести так усердно всю жизнь, как он его нес. Правда, он не был теоретиком, у него не было предвзятого определенного миросозерцания, но он, наверное, пошел бы за новою идеею до тех пор, пока она не создала бы лучшего строя жизни, возможного для разумного человеческого существования. Говоря все это, мы, однако же, никак не думаем возводить Некрасова в герои в том смысле, как обыкновенно понимают это слово. *[Все дальнейшее, кроме двух-трех заключительных фраз, было уже давно цитировано Н. К. Михайловским в его статье о Некрасове.]* Некрасов не пошел бы на смерть, на страдания за дело новой идеи, которое он нес на себе: мы не должны забывать, что он воспитан был в ежовых рукавицах дореформенной эпохи. Это был, если угодно, герой, но герой-раб, который поставил себе целью добиться во что бы то ни стало свободы, упорно преследует эту цель, по временам, применяясь к обстоятельствам, делает уступки, но на своем главном пути постоянно держит ее в уме; понимает, что таким только образом он может ее добиться, а кроме того понимает, что в той

среде, которая его окружает, не найдется таких людей, как он; хотя, быть может, есть немало лиц из тронутых новой идеей, которые гораздо выше, т. е. самоотверженнее и чище, лиц, которые готовы пожертвовать за нее жизнью, но не найдется таких героев-рабов, которые бы так упорно шли в течение десятков лет, шаг за шагом, по тому тернистому пути, по которому идет он, подвергаясь изо дня в день разным мелким мучениям и перенося сделки со своей совестью. Герой-раб мог признаваться, что его рука иногда "у лиры звук неверный исторгала", что, "жизнь любя, к ее минутным благам прикован он привычкой и средой", что он "к цели шел колеблющимся шагом и для нее не жертвовал собой". Но действительный герой не мог действовать в то время на журнальном поприще. Мы, однако, не должны забывать, что каждый герой должен оцениваться по условиям времени и целям. Для каждого времени является свой муж потребен. Герой тот, кто понял условия битвы и выиграл победу. Хорош и тот герой, который умирает за свое дело, так сказать, мгновенно, всецело, публично, запечатлевая перед всеми своею смертью свои убеждения; хорош и другого рода герой, герой-раб, который умирает за свое дело в течение десятков лет, умирает, так сказать, по частям, медленную смертью в ежедневных мелких пытках от внешних мелких гонений и стеснений, от сделок с своею совестью, умирает никем не признанный в своем героизме и даже под общим тяжелым обвинением или подозрением от толпы в измене делу. По условиям нашей жизни, у нас мог выработаться в литературе только герой-раб. Скажем более: только такой герой и мог вынести дело новой идеи при первом ее появлении и утверждении в обществе... Покойный Х. не понял, что герой-раб позволил своей руке "у лиры звук неверный исторгнуть" единственно для того, чтобы уравнивать и сделать менее тернистым путь для героев иного типа, героев будущего".

Повторяем, для людей нынешнего поколения, выросших в совсем иной общественной атмосфере, покажутся, наверное, странными некоторые из мыслей Елисеева. Но ведь он сам же и оговорился, что рисует образ хотя и героя, но - "героя-раба"... Отлично, разумеется, понимал Елисеев все нравственное превосходство героя - свободного человека; но было бы несправедливо отрицать своеобразное "величие" в той спокойной твердости, с которою он громко признается: "Да, наше поколение шло рабьей дорогой к своей великой цели - потому, что иной дороги мы не видели".

И Елисеев, этот "аскет текущей жизни и непосредственных практических результатов" (как определяет его Н. К. Михайловский), человек исключительной идейной и душевной цельности, был вполне последователен в применении своих теоретических взглядов к жизни. Оставляя в стороне оценку этих взглядов самих по себе, мы хотели бы только выяснить вопрос о том, насколько нарисованный Елисеевым образ "героя-раба" действительно подходил к Некрасову. Было ли точно сознательным жертвоприношением поведение его в 1866 году? Михайловский, говоря о записке Елисеева, осторожно замечает: "Я не иду так далеко, я думаю, что Некрасов тогда просто растерялся, испуганный надвигающейся грозой, тем более страшной, что неизвестно было, как и куда она направит свои удары. Испугался он, может быть, частью за журнал, но главным образом, я думаю, за себя лично".

Не решаясь, в свою очередь, идти "так далеко", мы думаем только, что для самого Некрасова в момент опасности могли быть не вполне ясны руководившие им мотивы. Во всяком случае, апология поэта, написанная Елисеевым, кажется нам чрезвычайно важной не по одним лишь крайне интересным подробностям, но и по существу, как голос не адвоката только, но и свидетеля, человека, который сам, подобно Некрасову (хотя и в значительно меньшей степени), "прошел через цензуру незабываемых годов". Из всех сотрудников и единомышленников Некрасова Елисеев (который и родился даже в одном с ним 1821 году), конечно, наиболее походил на него по тесному, кровному соприкосновению с живой действительностью, так что, выслушивая Елисеева, мы выслушиваем отчасти как бы самого поэта... Упомянув о предсмертных попытках Некрасова высказаться, Н. К. Михайловский особенно подчеркивает то обстоятельство, что оправдательно-покаянные речи поэта имели "затрудненный" характер, - как будто он "не мог ни другим рассказать, ни самому себе уяснить ту смесь добра и зла", из которой состояла его жизнь и деятельность. Но не могла ли зависеть эта "затрудненность" отчасти и оттого, что Некрасов своим тонким, проницательным чутьем угадывал огромное психическое различие между собою и младшими своими сотрудниками, вроде самого Михайловского? Не боялся ли он, что при всем уважении и любви к нему людей младшего поколения в некоторых вещах они никогда с ним не столкнутся и не поймут его, а

если и поймут, то не посочувствуют? Этот страх и мог сковывать его язык, холодить душу. С Елисеевым он чувствовал себя, вероятно, проще и высказывался прямее...

Но, имея так много общего друг с другом, эти два человека в некоторых отношениях были глубоко различны. Елисеев рисуется нам натурой цельной, как бы высеченной из одного куска; Н. К. Михайловский характеризует его так: "Демократизм Елисеева был не делом только принципов и убеждений, а самих инстинктов", он был "как бы сам народ, собственными усилиями пробившийся к свету и достигший верхов самосознания"; он "проще и непосредственнее относился поэту к народу" ("Литературные воспоминания и современная смута", т. 1). Некрасов же, при всей глубине и искренности своей любви к народу, при всем несравненном знании народной жизни и психики, лишен был такой непосредственности. Елисеев всегда чувствовал себя неотъемлемой частью того народа, для которого всю жизнь работал; Некрасов никогда, в сущности, не переставал чувствовать себя барином-интеллигентом, находящимся в неоплатном долгу перед народом...

Эта черта, которую Успенский назвал "больной совестью", более приближала Некрасова к поколению младшему, нежели старшему. Герой-раб, не чуждый порой самой трезвой и даже черствой положительности, умел в то же время до страсти, до злобы ненавидеть эту свою положительность, и более "тяжкой работы совести", чем его скорбно-покаянные песни, вплоть до семидесятых годов русская литература не знала. В глазах юных современников Некрасова покаянная нота его поэзии являлась не свидетельством недостатка "величия" в характере поэта, а, напротив, лучшим доказательством права его на бессмертие. К сожалению, выяснить все огромное значение "музы мести и печали" для самой жизни русской сможет лишь более или менее отдаленная история; она же произнесет и окончательный приговор Некрасову как человеку и гражданину.